

Ю. Суровцев

КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ

Мы сидим на ступенях лестницы великолепной Трапезной, красиво дополняющей общий ансамбль Загорской Троице-Сергиевской лавры. Мы долго бродили среди древних памятников и немного устали от постоянно сосредоточенного внимания. Из открытых дверей церкви льется густой напев хора.

Рядом с нами усаживаются двое: старуха вся в черном, с высохшим лицом (как у монахинь Маяковского, помните: «Воздев печенье картошки личек»), и крепкий сероглазый белоголовый мальчишка — по возрасту класса пятого. Старуха быстрыми движениями коричневых рук разворачивает узелок, достает ржаной хлеб, огурцы, выкладывает на ладонь соль, крупно посыпает ею хлеб. Мальчишка тянется за куском, потом, видимо, что-то вспомнив, глядит на бабуку и торопливо, кое-как крестится.

— Не спеши, не спеши, окаянный! — врывается вдруг в торжественный напев хора дребезжащий говорок. — Что смотришь идиолом, непутевый! — маленький, но крепко сжатый кулачок бабки проворно ударяет по белой голове.

Мальчишка испуганно втягивает голову в плечи, ожидая еще тычка. Мы все молчим. Только одна студентка не выдерживает:

— Бабушка, за что вы его, разве можно так?

— А тебе что надо? Бабушка! Внучка нашлась. — Старуха оглядывает нас всех освирепевшими вдруг глазками. Кажется, оттуда и выскакивают с треском слова: — Расселись тут, нехристи! Ишь, девки-то в штаны вырядились! Креста на вас нет... Идем, идем отсюда, миленький, — старуха толкает внука. — О боге не знают, а в лавру ходят... Туристы!

Бабка быстро свертывает узелок с пищей. Мальчишка нехотя, покорно идет за развешивающейся черной юбкой.

Мы ошеломлены. Никто не ожидал, что столько злости может быть у такой маленькой, сморщенной старушонки. Только один из нас, помню, сказал: «Ого! Вот это яга». А студентка, пожалевшая мальчишку, спросила:

— Как же он с ней живет? Кем будет?

Плохо, наверное, живет. Но главное — как он будет жить дальше? Мы, тогда еще студенты, как-то не задумались над этим.

Но вот повесть В. Тендрякова «Чудотворная» отчетливо напомнила этот случай, и не только его, но и многие другие подобного рода... Утро «святой Пасхи», церковный звон в селе, веселые ребячьи рожицы, среди которых попадаются уже и серьезные... Дети бегут «святить куличи», наши дети — школьники и пионеры. Или вот молодые люди, которые идут учиться в духовные семинарии, — ведь не все же они идут из-за поисков сытой жизни, как говорили нам некоторые семинаристы. Есть и искреннее желание «послужить богу», — это в наше-то время, время человеческой головой и человеческими руками сотворенных чудес! Вот в одной из московских церквей «работает», и с большим успехом, «отец», не вышедший еще из комсомольского возраста. В Армении, в знаменитом Эчмиадзинском храме, мы слушали рассказ молодого красноречивого красавца, из-под рысы которого проглядывали модные узкие брюки, об экспонатах Эчмиадзина — действительно интереснейших, относящихся к высокому человеческому искусству, — и с тем же воодушевлением он говорил о висящем на стене копье, которым был якобы поражен «мучимый врагами, спаситель наш, господь».

Верят ли они в то, что говорят своей «пастве», эти молодые «служители культа»? Если нет, то перед нами наихудший вид современного лицемерия; если же верят, то перед нами настоящая драма, драма человека, который сам вырвал себя из общих норм нашей жизни, по своей воле потерял себя для настоящего, полезного людям дела...

Почему же молчат писатели? Или, как некоторые недалекие люди, они тоже думают, что если дети бегут в церковь с куличами, — это мелочь; для детей, мол, это всего лишь развлечение, ну, может быть, бабушка уж очень попросила?

Может быть, когда-то религия объединяла людей. Сейчас — а у нас особенно — стало ясно, что религия разъединяет лю-

дей. Даже в наших условиях, где церковь приспособляет свою деятельность к нормам коллективистской жизни, человек, подавшийся духовному суеверию, тем самым обособляется от остальных, «безбожников». Случаи такого рода входят, стало быть, в сферу внимания тех, кто борется за духовную чистоту, моральную цельность советского человека. Значит — и в сферу внимания писателей. И первое достоинство повести В. Тендрякова, — что бы там ни говорили противники «тематического подхода» к литературе, — в ее теме. Ибо тему эту писателю надо было не повторить, не «разукрасить», а самому найти, первому (во всяком случае, за последние время) взять из сегодняшней жизни — и не просто найти и взять, а поднять на высоту подлинно значительной человеческой драмы.

Это повесть о Родьке Гуляеве, о том, как он нашел «чудотворную» икону, как бабка заставляла его креститься, как все старухи деревни стали думать, что он избранник божий, а он, Родька, стал размышлять, есть бог или нет, а если нет, то как же понять «чудо», о котором говорили в деревне, будто кто-то наверху в заброшенной церкви в полночь «пилит и пилит» — и действительно, Родька проверил! — *пилит*, а потом учительница Парасковья Петровна ему объяснила, что это — резонанс, отзвук каждый день в одно и то же время проходящего вблизи Гумниц поезда. Не правда ли, все эти события представляют собой чудную канву для вполне типичного богоборческого рассказа того типа, что некогда выделялись массовым производством как раз по такому, родькиного уровня, принципу: «пилит — есть бог, не пилит — нет бога»? Рассказики такие, как мы видим теперь, не очень уменьшили число верующих, зато увеличили число охладевших к произведениям «антирелигиозной окраски» читателей и охладили писателей, настоящих писателей, к этой теме: с поверхности, наверно, брать ее не хотелось, а глубже копнуть — трудно, да и боязно, вдруг поклепом на советского человека обернется, ведь, смотри-ка: хороший человек, а в бога верит, а если только плохих людей религиозностью наделить, так «схематизм» заработаешь.

Но Тендряков таких соображений не боится, он смело берет из жизни ее конфликты и претворяет их в свои «драмы в прозе». И мы, читатели, благодарны ему за то, что его глаз видит порой много больше и глубже, чем наш, а его сердце писателя, грустно признаваясь, оказывается отзывчивее нашего на «чужую» беду.

Как стал жить Родька Гуляев, когда с ним случилась беда, кем он мог бы стать, если бы заботливые, сильные и умные руки таких людей, как учительница Парасковья Петровна, не вытащили его из плена религиозных предрассудков, куда он неосмотрительно попал со своей находкой?

«Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоящейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, в глубину, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, Расскажи-ка, что видела в воде... И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Си-ди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не растегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно ты *чувствуешь себя каким-то несчастным*. (Курсив мой. — Ю. С.) Вот Родька идет в школу — настроение хорошее, утреннее, ничего: «плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, *все пойдет по-прежнему!*». «Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребики, ковыряющейся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голоском: «Ангелочек... Божий избраннык... Праведник». Услышат люди... А навстречу озабоченной походкой враскачку, руки в карманах, заветная для Родьки флотская фуражка с лакированным козырьком на затылке, в зубах жеваная сигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже все знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живет!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя записали?..

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекло в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед!

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел, ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем, Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения».

Я привел эти выдержки не только для того, чтобы читатель «вошел в стиль» автора; здесь концентрируется — причем очень тактично, ненавязчиво, действительно, соответственно мальчишескому возрасту героя — главная идея повести. Религия, олицетворенная для Родьки в «чудотворной» иконе (черной доске, на которой жутковато выделялся длинный тонкий нос и белые глаза), *вырывает Родьку из привычного, доброго, теп-*

лого мира, она отрывает его от приятелей и мечтаний: как же, будешь здесь моряком, когда нужно богу молиться, теперь уж твоя дорожка быть праведником, вроде юродивого отрока Пантелеймона, когда-то жившего здесь. Мир, в котором жил Родька, воздух, которым он дышал, — совсем-совсем другие, чем в те, пантелеймоновские времена. Писатель показывает это умело, без «публицистики»; лягушка должна у Родьки поработать «водолазом», сам ящик, в котором он нашел икону, был похож «на те ящики, в которых гумнищенская сельповская лавка получала конфеты-подушечки». За этими «конфетами-подушечками» — смена целых эпох, разделяющих Родьку и, скажем, чудесных ребятишек с Бежина луга. Конечно, и деревенские ребятишки, родькинские приятели, с замиранием сердца слушают чудесные сказки, в том числе и про таинственное пиление в церкви. Но — как показательно! — если они хоть чуть-чуть и верят в это «пиление», то потому, что сам Костя Шарاپов, тракторист и в «бога не верует», «сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается».

И вот из этого мира школы, трактористов, моряка-председателя, старой любимой учительницы, из этого доброго, открытого мира, который — пока еще Родька не знает этого как следует — охраняется и строится людьми вроде Парасковьи Петровны или молодого, крепкого Кучина, заведующего отделом пропаганды и агитации райкома партии, куда пошла советоваться Парасковья Петровна, — из этого мира Родьку вырывает икона, вернее, старая, но еще крепкая и злая рука бабки, настойчивой, тупой, фанатичной, грубой, знающей, что ей делать и чего она стоит, — современная Кабаниха, она подчинила себе слабохарактерную дочь и готова чуть ли не до смерти забить внука, с отчаяния бросившегося на икону с топором. Куда же тянет Родьку эта рука? К неприятным, странным, уродливым людям. Их раньше Родька как-то и не замечал вроде, а сейчас они вылезли, выстроились перед ним, и вот лезет под «благословение» божьего избранника — Родьки «красномордый», опухший, с рыжей, запущенной щетиной на подбородке инвалид-спекулянт и дебошир Киндя, гнусят над толстой желтой книгой какие-то старики, вечно слезится, хнычет («помолись за меня») водянистая, несчастная баба Мякишева, заискивающе и выжидающе (какие блага вымолит им Родька у господ?) заглядывают в глаза мальчишки «согнутые пополам» старики со «сморщенными, темными руками». А там, глядишь, и отец Дмитрий появляется, хитрый, современный ласковый поп. «Каждый всяк по себе живет, свою душу спасает», — грубо рубит бабка. Отец Дмитрий, щелкая портсигаром с кремлевской краснозвездной башней на крышке, благонаравно объясняет Парасковье Петровне: «Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но если именем Христа я

могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным?.. Пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла».

Так сплетаются в повести В. Тендрякова две внутренние темы: религия отрывает человека от людей, религия поселяет в душу человека страх. Это связано друг с другом: одинокий человек боится жизни, боится, что его обманут, нанесут ему урон, причинят неприятность; и наоборот, страх за себя, за свою душу отвращает человека от общего дела...

Талант В. Тендрякова — мы уже говорили об этом — остро драматический. Писатель ищет в жизни противоборствующие силы, их столкновению подчиняет в своих произведениях все. И в «Чудотворной», как и в «Ухабах» и «Не ко двору», писатель не стремится направить основной конфликт в русло привычно-очевидного разрешения. Известны слова Льва Толстого о «миллионах возможных сочетаний» в судьбах и взаимосвязях героев сочинения и о том, как «ужасно трудно» «выбрать из них одну миллионную». В. Тендряков, как всякий настоящий художник, внимательно вглядывается в характеры людей, созданных его воображением и переведенных со сцены жизни на сцену книги, — каковы их возможности. Он ищет, где найти тот «случай», тот «поворот», который полнее всего их «выскажет». И поиски эти лежат у писателя всегда на линии усиления драматизма.

Темные люди, взявшие в плен Родьку-«праведника», добились все-таки того, что у двенадцатилетнего мальчишки зародилось сомнение в том, что бога нет. В церкви, действительно, «пилит», значит есть нечистая сила, а стало быть, и бог. Потом Родьке вдруг приходит на ум услышанное в школе: Лев Толстой, — книги писал, «он и Парасковьи Петровны умней был», — тоже какого-то бога искал.

Затравленный, до полусмерти избитый бабкой, Родька делает попытку утопиться. С чего — с отчаяния, со страха?

Тема страха — вторая внутренняя тема повести. Это не страх — опасение перед бабкиной колотушкой, не ребячий страх — «ужас» перед нечистой силой, гнездящейся в заброшенной церквушке, это ведь страх как принцип жизненного поведения. Такой «страх божий» проповедует отец Дмитрий. На чем могут полонить нестойкую душу отца Дмитриия? На чувстве страха за свою необеспеченность, неустроенность, за свой завтрашний день — мало ли какое несчастье может случиться завтра, — помолись, а вдруг и поможет, лоб-то не развалится! Отцы Дмитриия спекулируют на несчастьях: «потянулись же после войны люди к богу», — говорит он. Да, не перевелись еще в жизни бедствия — от неудачной личной судьбы до общенародных несчастий: войны, неурожая и т. д. Не перевелись еще и слабые души. Вот и мать Родьки, Варвара. Молодой была — ни в бога, ни в чер-

та не верила. А потом — война, трудное житье, муж бросил с ребенком: «Молись, Варвара, — командует мать, — проси милости божьей». И напуганная жизнью, сторонящаяся людей Варвара послушалась и вот из-за своего безволия, своей слепоты чуть не погубила сына.

Драматические конфликты и их драматическое развитие у Тендрякова основаны почти всегда на твердом реалистическом подходе к жизни. И здесь — в вопросах преодоления религиозных предрассудков — Тендряков не думает, что «аптечками и библиотечками» можно до конца победить многовековую коварную силу суеверия; писатель видит, что люди, воспитывающиеся не где-то за чертой 1917 года, а гораздо позже, тоже обращаются к религии. Почему? Как этому помешать? Где главное средство? Нужно сделать так, чтобы у людей нестойкой души и невыработанных убеждений, притом людей, жизненная практика которых не очень-то дает время для систематического изучения философии, не было поводов обращаться к богу. Старая учительница Парасковья Петровна, пришедшая в райком посоветоваться, что же делать, не может не согласиться со словами Кучина: надо, чтобы люди верили «не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щак, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог».

Это «теория постепенности»? Нет, это реалистический взгляд на вещи. И лекции, конечно, нужны. Но главная сила в борьбе против предрассудков — бесстрашная вера человека в свое могущество. А эта вера воспитывается жизнью.

В. Тендряков пишет книги, после чтения которых как-то не очень хочется рассуждать о сюжете, композиции и прочих «вопросах формы». В. Тендряков дает весьма обширный и интересный материал публицистической критике. Но это не значит, что писатель «берет» за сердце лишь актуальностью своих произведений: сколько есть «актуальных» книг, которые не читаются, потому что плохо, неталантливо они написаны!

За несколько лет своей работы у В. Тендрякова уже сложились некоторые устойчивые «приемы письма», объясняемые и объединяемые воедино как раз пристрастием таланта писателя к драматическому содержанию. Обильный диалог, рельефный, грубый, резкими мазками набрасываемый портрет персонажа, сжатый и быстро, «изнутри» развертывающийся сюжет, стремление к сдержанной точности изложения — вот некоторые черты стиля Тендрякова. Успешно «применяет» писатель и прием своеобразного внутреннего монолога, причем это своеобразие состоит в том, что герой не просто думает на на-

ших глазах, а спорит сам с собой, спор этот драматичен и по содержанию и по форме: аргументы и переживания не высказываются полно, а даются пунктирно или только подразумеваются — это монолог чем-то смятенного человека:

«Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Парасковьи Петровны, после разговора с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, а где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить... Не напрасно учительница пугает, ой, не напрасно! Как же гарно быть? От школы отворачивается?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Парасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает»..

Но мне хотелось бы высказать одно сомнение. Подобный «лихорадочный спор» с самим собой отлично «уживается» с характером мучающегося Родьки, мечущейся Варвары или ищущего правильный путь Саши из «Тугого узла». Но нельзя, думается мне, распространять такой «прием» на каждого героя.

В такой же эмоциональной форме должна думать и Парасковья Петровна? Нет, она другой человек по своему эмоциональному комплексу. И вот когда герои, которым такая форма переживаний не может быть свойственна, его проговариваются, по выражению Белинского, против себя, — тогда мы видим этот «прием», ощущаем его как «прием» и говорим: это уже автор, это — нарочито. Вопрос соотношения стиля повествования о герое с его характером, мне кажется, должен стать одним из беспокоящих автора вопросов. Своеобразие — не однообразие!

Кстати, не слишком ли назойливо и однообразно «обыгрывает» автор все эти глаза, смотрящие на бедного Родьку: один — «не спускал с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз», другая воззрилась «голубенькими, по-молодому пронзительными, словно высканивающими вперед лица глазками», у третьей «среди всецелых морщинок мрачновато глядели черные глазки», а у матери Родьки был «зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы». Даже у добродушного Веньки, родкиного приятеля, «изпод черной, как воронье перо, челки глядел со спрятанной угрюмой настороженностью недобрый глаз». Глаза «глядят» разные — а «прием» (один и тот же) прямо-таки кричит о себе..

Творческая судьба Тендрякова — пока путь от удачи к удаче. К тем книгам, что уже пользуются известностью и любовью у читателя, он теперь прибавил новую удачу — «Чудотворную».